## У синего Белого моря

# Сергей Снегов

Я назову его Журбендой. Это был коротконогий, короткопалый, круглоголовый, рыжеватый человечишко с некрасивым, но живым лицом, до того густо усыпанным веснушками, что щеки и лоб отливали золотом И у него была странная борода — клочковатая, неистовая, как и он сам. В день выхода из тюрьмы Журбенда сбрил ее, но она вырвалась наружу уже на второй день и за неделю отросла на пол пальца. Я и не подозревал до Журбенды, что на свете существуют такие жизнебуйные бороды. Ненавидевший его Иоганн Витос хмуро бубнил при встрече: «До чего же хорошо растет сорная трава на навозе!» Иоганн Карлович нарывался на ссору. Журбенду ссоры не привлекали он ухмылялся и отходил подальше от Витоса.

Еще я знал о Журбенде, что он до ареста работал в историческом архиве и написал столько книг и статей, что их не уместишь и в чемодане. Об этой поре своей жизни Журбенда обычно умалчивал. Зато он с охотой распространялся о мировой и гражданской войнах, о созданном им, первом на их фронте, Совете солдатских депутатов, о том, как он провозглашал в местечках советскую власть, арестовывал помещиков и буржуазию, давал отпор белополякам и рубил под комель контрреволюцию! А годы, когда партию трясла жестокая лихорадка дискуссий, вставали в его рассказах так ярко и образно, что я мог слушать его часами. Его тронуло мое внимание. Он развлекал и просвещал меня. Он вдалбливал в меня свое понимание мира, оттачивал на мне искусство доказательств и умолчаний, опровержений и издевательств «Какой он ученый? ворчал Витос, — Трепло, вот он кто!»

Журбенда вторгнулся в мою жизнь в день, когда нам объявили, что переводят из тюрьмы в лагерь. Нас вызывали одного за другим на комиссию и спрашивали, хотим ли мы работать. Мы ни о чем так не мечтали, как о работе. Исправительно-трудовой лагерь представлялся нам чуть ли не земным раем в сравнении с тюрьмой, разумеется. Мы бредили вольным хождением по зоне, с клубами, кухнями, где сам берешь еду, репродукторами, которые гремят в каждом бараке, свободно получаемыми газетами... Лагерь приближал нас к стране, в нем было что-то от воли. Мы все стремились в лагерь. Я поспешно ответил «Очень хочу работать!» — когда меня спросили, как я отношусь к труду, тюремный врач с сомнением посмотрела на мои пожелтевшие от цинги ноги и сказала «Годен!». Мне пообещали, что отныне я на недостаток работы жаловаться не буду.

А когда я возвратился в камеру, в ней оказалось двое новеньких: Иоганн Карлович Витос, седой латыш, в прошлом, при Дзержинском, один из руководящих работников ВЧК, в последние годы секретарствовавший в каком-то московском райкоме, и этот рыжеватый Журбенда. Витос и Журбенда сидели на нарах спинами один к другому — они познакомились с час назад и успели поссориться. Не знаю, бывает ли столько раз описанная любовь с первого взгляда, но ненависть с первого слова встречалась мне часто. Именно такое чувство охватило Витоса. Крепкая ненависть соединяет прочнее пылкой любви. Отныне Витос, где бы ни был, думал о Журбенде и стремился к нему, чтобы вылить на него яд. Он охотно добавил бы и удар, но, как я уже упоминал, Журбенда считал кулак аргументом увесистым, но не веским. Этот человек жил среди слов и для слова. Он пробовал слова на вкус, дышал ими, как воздухом, дрался словом, как ножом; погружался с головой в его диковинную магию — не уставал, никогда не уставал наслаждаться его волшебством!

— Приберите камеру, — приказал нам дежурный надзиратель. — Скоро переведем вас в другой корпус.

Нам было не до уборки. Мы обсуждали предстоящий выход в лагерь. Уже было известно, что нас отправят из Соловков в Норильск, на строительство металлургического завода. Жизнь делала очередной крутой поворот. На этот раз это был поворот к лучшему. Кончилась кампания истребления, где-то наверху наконец схватились за голову. Да, теперь становилось ясно, что подведена черта не только под Ежовым, но и под ежовщиной, ветерок воли пахнул нам в лицо. Шло лето тридцать девятого года.

Во время нашего восторженного разговора загремели засовы. В камеру вошли начальник тюрьмы Скачков, человек с аскетическим лицом и горящими глазами, его помощник майор — толстячок Владимиров, корпусной надзиратель и коридорный «попка». Капитан госбезопасности Скачков в прошлом командовал на Лубянке. К нам на Соловки его послали за какое-то прегрешение, ходили слухи, что к нему уже «подбирают ключи» Умный, желчный, жестокий, он пока был еще всевластен на острове. Охрана бегом кидалась исполнять любой его приказ. Мы боялись и смотреть на него.

— Вот как — посиделочки устроили? — недобро поинтересовался он. — И не скучно? А не передавали вам, что эта камера нужна мне к вечеру? Может, все-таки утрудите себя небольшой работенкой?

Мы схватились за тряпки и веник. Журбенда засуетился, покрикивая на нас:

— Товарищи, поживее, что же это такое? Разве вы не слышали — эта камера для гражданина начальника нужна! Мы же должны сделать все, чтоб гражданину начальнику было в ней удобно!

Скачков гневно повернулся к Журбенде. У того на лице была такая угодливость, такое горячее стремление услужить начальству, что даже скорый на расправу Скачков не нашел, что сказать. Он выругался и направился к двери. Снова загремели засовы. У Журбенды сияли лукавые глаза, золотистые, как его веснушки.

В ожидании парохода, который должен был отвезти нас в Норильск, тюремное начальство решило использовать нас на местных работах. Нас вывели на строительство аэродрома.

В нашем корпусе уже на рассвете загрохотали замки и засовы, заскрипели двери, затопали ноги по деревянным полам и лестницам. Это был хороший дом, бывшая гостиница для богомольцев. Комнаты в нем были как комнаты, не угрюмые кельи со сводчатыми потолками, как в других зданиях монастыря. Мы потом не раз поминали добрым словом этот тюремный корпус, где пришлось выхлебать не одну миску горя. На нем, кстати, была воодушевляющая надпись: «Придите ко мне все страждущие и я упокою вас».

На широкую площадь перед собором, из всех строений, протянувшихся вдоль крепостных стен, текли человеческие ручейки. Они перемешивались, сливались в колонну — голова ее подпирала к воротам, туловище удлинялось и удлинялось, делало изгибы и повороты, понемногу заполняло каждый квадратный метр, оставаясь все той же четко очерченной линией. Я когда-то учил любопытную теорему Пеано, о том, что линией, если ее бесконечно выкручивать, можно заполнить любую плоскость и объем. Наши конвоиры, не утруждая мозгов высшей математикой, легко проделывали это на практике. А когда площадь была полностью запрессована и новых людей, по-прежнему выходивших из тюремных дверей, оставалось разместить разве что во втором слое (над нашими головами), раздалась команда, тяжело захрипели и завизжали ворота, и мы, по пять в ряд, хлынули на волю.

Я шел между Журбендой и Анучиным. С добряком Анучиным, преподавателем физики и поэтом, я познакомился два года назад, когда в осеннюю бурю нас привезли в Соловки из Вологды. Мы стояли молчаливой толпой у крепостных стен, а за ними бушевало море. Море накатывалось на дикий камень, с грохотом карабкалось на башни, осатанело грызло залитой пеной пастью отвесные стены и, отраженное, глухо ревело и топотало тысячами ног в отдалении. Анучин, высокий, пожилой, держал меня под руку и, подняв вверх голову, внюхивался в морские запахи, вслушивался в грохот. Тогда же, у ворот тюрьмы, он сочинил стихи и прочитал их мне. Я запомнил эти восемь строчек и часто повторял их, когда в непогоду к нам доносился в форточку голос мятущейся воды:

Я помню моря шум глухой ночной порою,

Когда стояли мы в молчанье возле стен —

Он тешил мысль мою зловещею игрою,

Священным символом, сулящим вечный плен!

Да, да! Не широту, где воздух, а границы,

Пределы тесные кладет моей судьбе,

Где только он да крик пролетной птицы

Принадлежат, свободные, себе.

Нас рассадили по разным камерам, и я уже не надеялся, что увижусь с Анучиным. Здоровье его было из неважных, а тюремный режим не способствует выздоровлению. Встретившись на крепостном дворе, мы на радостях обнялись, хоть и могли попасть в карцер, если бы наши излияния обнаружила охрана. Тут же мы постановили идти вместе. Журбенда, не отстававший от меня, составил нам компанию.

И вот мы вышли в лес, соловецкий северный лес, вплотную подступивший к морю, неразреженный лес молодых, бурно вытянувшихся крепких деревьев. Я не люблю перестоявшихся чащоб с их трухлявыми надменными великанами, подавляющим и молодую поросль, поваленными стволами, болотами, папоротниками, вечным молчанием под кронами, шумящими изредка одними вершинами. Лишь буря способна заставить такие замшелые леса раскачаться и завопить. Но эти ясные боры и березнячки, откликающиеся на любой порыв ветра, весело шумящие при тихой погоде, радующиеся воздуху и солнцу, сводят меня с ума, как великая музыка или стихи. В старых лесах все отдано могучим стволам и ветвям, в молодых царствует зеленая листва, ветвей не видно из-за облепивших их жадной к свету хвои и листа. Великолепный лес, зеленый с желтизной и кровью, раскинулся по обе стороны дороги — он шумел, качался, источал запахи...

Я три года не вылезал из разного сорта камер — следственных, пересыльных, этапных, срочных, маленьких, больших, каменных, деревянных, гранитных — но всегда одинаково вонючих. Я успел позабыть, что в мире существуют иные запахи, чем испарения грязного белья и пота. Даже камень в наших камерах, даже полы и нары были пропитаны зловонием наших тел. А когда нам разрешали открывать форточки в окнах и ветер, запутавшийся в двориках-гробах, вбивал к нам порцию воздуха, мы ловили в свежем воздухе все те же знакомые ароматы сотен одновременно проветривавшихся тюремных камер и отхожих мест. Я воспринимал окружающее раньше носом, потом лишь глазами и ушами — уже три года мир пахнул мне тлением и неволей. А сейчас он несся ко мне навстречу тысячами дурманящих ум, хватающих за сердце запахов!

В этот первый день выхода на вольный свет после долгого заключения я непредвиденно испытал диковинное счастье — каждая травинка, цветок, листочек и ствол дышали на меня своим особым, непохожим на других дыханием. Аромат леса, обычно спутанный и сумбурный, сейчас рассыпался на множество отдельных, самостоятельно кричащих о себе благовоний — он менялся с каждым моим шагом, с каждым поворотом головы! Вот тут терпко несло сырой березовой корой, а сверху низвергались горьковатые запахи березовых листьев, а на этом месте к ним прибавлялся, не забивая, пряный дух смородиновых кустов и земляничных листьев. А еще через два шага дорогу пересекала нагловатая вонь сыроежек, подвальные испарения боровиков, суховатые — моховиков. Где-то в глубине, невидимая за березнячком, притаилась купка сосен, от них понеслись смоляные ароматы корья и желтеющей хвои, рядом с ними вдруг поднялись запахи, тоже невидимых, елей. А когда грядка елей потеснила березнячок и сбежала к дороге, все вокруг было подавлено их холодным, пронзительно-резким дыханием. И почти везде, на любом повороте пути, от земли поднимался пьяный, насмешливый, угрожающий дурман болиголова, он словно был почвой, на которой расцветали отдельные запахи.

Маяковский утверждал, что все мы немного лошади. Во мне всегда было что-то собачье. Собаки влюблялись в меня с первого взгляда. Мать уверяла, что незнакомые злые псы, рычащие направо и налево, ластятся ко мне потому, что угадывают во мне родство. В этот удивительный в моей жизни день я полностью понял, до чего же хоть в одном отношении собаки одарены богаче нашего — каждая вещь мира пахнет им по-своему. Ни до того, ни после мне не удавалось испытать такого чувства. Уже на другой день лес пахнул лесом — суммарным и сумбурным, всегда одинаково приятным дыханием всех своих растений, тварей и вод.

Я шел, беззвучно повторяя любимые строфы:

«И старик лицом суровым посветлел опять,

по нутру ему здоровым воздухом дышать,

снова веет волей дикой на него простор,

и смолой и земляникой пахнет старый бор».

Я и раньше не раз упивался чудесными звуками этих строк; но сейчас меня охватило возмущение на Илью Муромца. До чего же мало старик открыл благовоний в темном бору — только смолу и землянику! Я так расстроился, что всхлипнул от огорчения. Если бы меня не окружали люди, я бы расплакался. Я не был легок на слезы, ни арест, ни допросы не выдавили из моих глаз воды. Лишь после приговора я рыдал, но и в том припадке было больше яростной брани, ударов кулаками в дверь и скрежетания зубов, чем водянистых слез. А сейчас мне непременно надо было поплакать, до того оказалось чудесно в этом чудесном северном лесу!

Анучин поддержал меня:

— Что с вами, Сережа? Как бы вы не упали?

Я повернул к нему сияющие, я знал, что они сияют, полные слез глаза.

— Со мной — ничего! Боже, как хорошо на воле! Как хорошо!

Голова колонны повернулась налево. Разнеслась повторяемая голосами всех конвоиров команда. Лес расступился. Перед нами раскинулся на три стороны водный простор — море, синее море!

Нам разъяснили, что на этом месте устраивается гидропорт, нужно оттеснить лес от берега. За колонной людей двигалась колонна телег, на телегах везли топоры, лопаты, ломы. Конвоиры, чтоб не оказаться в гуще заключенных, вскоре отошли в лес, где начали устраивать свои засады и посты. Мы принялись за работу. Над нами светило смирное небо, позади шумел и дышал лес, впереди рокотало море. Чайки носились с воплями над водой, крики их до того напоминали плач ребенка, что первые минуты было не по себе. А мы, рассредоточась, усаживались орлами на траве. Мы оправлялись, наслаждаясь природой и волей. Это было первое, чем мы занялись, после того как исчезли конвоиры.

Нет, в бессвязном моем рассказе я должен поговорить и об этом! Человеку дано спотыкаться на ровной дороге, он всего о двух ногах. И уж, во всяком случае, он способен выдумать страдание на совершенно пустом месте. Как известно, американский какаду оправляется на ходу, но человеку для этой операции требуется время, уединение и сосредоточенность. Уберите уединение, ограничьте время, не давайте сосредоточиться — и естественное отправление превратится в муку. Умники из тюремного начальства додумались и до этого. Нам каждый день меняли часы оправки, мы часто уходили в отхожее место, как выражались с грустью, «не созрев». Молодой мой желудок сравнительно легко справлялся с хитро придуманным ограничением, но пожилым приходилось туго. В камере оправка служила, вероятно, самой важной темой наших разговоров. Машинист Иван Васильевич, когда я спросил, чего он крепче всего желает, ответил со вздохом: «П...ть бы по воле!» И вот сейчас мы могли совершить это по воле и вволю! Даже те, которым не было нужды, присаживались, чтоб не лишиться удовольствия свободной оправки. Я сидел недалеко от своих и сочинял стихи. Обстановка и занятие располагали к поэзии. Море подкатывалось к ногам, ветви березы били по голове, трава тонко пела и качалась. В результате усердного труда получился классический четырхстопный ямб:

О голос волн, которым я

Так мучился в моей каморе!

О это вольное, у моря,

Священнодействие!..

Здесь над моею головой

Листва и чайки в общем скопе,

И пахнет тиной и травой,

И так светло душе и!..

Когда я покончил со стихами, ко мне подошел Анучин.

— Надо работать, — сказал он. — Хорошо сиделось, но надо работать.

Я торжественно продекламировал наскоро срубленный стих. Анучину понравилось, что занятие наше названо священнодействием, он нашел, что слово это выражает суть. В признательность он прочитал мне свое стихотворение, написанное еще в 1920 году. Оно нравилось Есенину, в те годы они дружили. Стихотворение и вправду было отличным.

Мы взвалили на плечи по лому и топору и полезли на обрыв бережка, чтобы быть подальше от других. Вскоре к нам присоединился Журбенда с лопатой, а за ним появились Витос и Хандомиров, быстрый веселый инженер средних лет. Он хорошо знал лагерные порядки и ни при каком повороте событий не впадал в уныние. Кроме того, он блестяще производил в уме арифметические вычисления.

Объединенными усилиями мы кое-как срубили негодующе застонавшую березку и сели отдыхать. После небольшого физического усилия мы вдруг изнемогли. Три года тюремного режима настолько ослабили нас, что сил хватало лишь на то, чтобы стоять не падая. Я страстно хотел трудиться, с грохотом валить деревья. Вместо этого, покончив с березкой, я со стоном сам повалился на землю. Даже крепыш Витос прилег на траву и закрыл глаза.

В это время на берегу показался толстый майор Владимиров. Он расхаживал с двумя стрелками и грубыми окриками поднимал отдыхающих. Линию его блужданий в приморском леске отмечали торопливо застучавшие топоры, глухое трепетанье валящихся березок и сосенок. Мы с тревогой следили, пойдет ли он к нам. Владимиров поднял голову и прислушался. От нас не доносилось звуков, свидетельствующих о труде. Тогда он стал карабкаться по уклону. Мы с Анучиным и Журбендой схватились за ломы и топоры, Витос открыл глаза, Хандомиров не пошевелился.

— Сейчас я его отгоню! — сказал он равнодушно и, все так же спокойно сидя, вдруг завопил диким голосом: — А ну давай, давай! Раз, два — взяли! Еще чуток, крепче, ну! Раз, два, по новой — взяли!

Он закончил свой рев визгом, словно человек, повалившийся вместе с обрушенным стволом. Владимиров остановился. Когда Журбенда для убедительности стукнул обухом по соседнему дереву, Владимиров показал нам покатую, как у старухи, спину — наверху работали с таким старанием, что подгонять не имело смысла.

— До вечера можно не усердствовать, — сказал Витос, зевая, — Разбудите меня, когда прикажут строиться. Один день отдыха после двух лет заключения я себе разрешаю. Вот уж посплю на воздухе!

Спать ему довелось недолго. Владимиров, слоняясь по берегу, вскоре удивился, что на верхнем участке замолчали. Он зашел с другой стороны обрыва и разразился над нами, как гром с ясного неба. Опустив головы, мы слушали его выговор. Даже находчивый Журбенда растерялся. Когда Владимиров пригрозил, что заморит нас в карцере, если не перестанем волынить, Журбенда начал оправдываться:

— Обещаем, товарищ начальник...

— Гусь свинье не товарищ! — оборвал Владимиров, — Запомните и это на будущее.

— Правильно, гражданин начальник! — смиренно поправился Журбенда. — Приложим все усилия, чтоб вы нас не ругали гусями.

Владимиров отошел, остановился, подумал и возвратился назад.

— То есть как это «ругали гусями»? — переспросил он грозно. — Выходит, я — свинья? Вы эти штучки бросьте, понятно? Я запрещаю считать меня дураком!

Журбенда униженно склонился перед разъяренным майором.

— Слушаюсь, гражданин начальник! Впредь не буду считать вас дураком.

Владимиров еще с полминуты пронзал его взглядом, потом, переваливаясь с боку на бок, заковылял по песку. Хандомиров завалился на спину и хохотал, от восторга выбрасывая в воздух длинные худые ноги. Даже хмурый Витос засмеялся. По морю шел прилив — волны все выше накатывались на берег.

Так мы с неделю трудились у синего Белого моря, под белесоватым небом, среди зеленого леса. Начальство, радуясь, что пароход задерживается, стремилось выжать из нас побольше. Непрерывная, по десять часов в день, физическая работа была нам не по плечу. Не одного меня, почти всех нас шатало от ветерка, пьянило от солнца, мутило от каждого физического усилия. Некоторые, выкорчевав из песка пенек, отходили в сторону и выташнивались. Расчищенное от деревьев пространство расширялось, но так медленно, что начальство теряло терпение. Уже не только Владимиров, но и сам Скачков подгонял нас. Под его пылающим взглядом мы трудились с исступлением, но наворачивали не больше, чем тринадцатилетние подростки. На большее нас не хватало.

Однажды нас подняли в середине ночи. Колонну человек в пятьсот привели на полянку, освобожденную от леса. В центре ее торчал валун — глыба гранита метров семь в длину, метров пять в ширину, метра четыре в высоту. Неподалеку зиял котлован. Владимиров объяснил, что предстоит протащить валун по земле, пока он не свалится в уготованную ему яму. Для этой цели предоставлен прочный морской канат — нам остается дружно приналечь на него и совершить несколько мощных рывков. После этого нам выдадут по черпаку чечевицы и отведут в камеры досыпать. Мы повеселели, услышав о роскошном дополнительном пайке — чечевица любимое блюдо в тюрьме.

Владимиров сам проверил, хорошо ли подкопан валун, не сидит ли глубоко в земле. Глыба упиралась в грунт плоской стороной, земля нигде ее не цепляла. К котловану еще до нас была проделана аккуратная дорожка, на дорожку положены бревна, а поверх них — доски. Валуну оставалось лишь взобраться на доски и, подталкиваемому с боков, покатиться на бревнах, как на роликах, — так это рисовалось Владимирову. На глыбу набросили канат, двести пятьдесят человек выстроились с одного конца, вторая четверть тысячи с другого.

К концу приготовлений на площадке появился Скачков. Он прохаживался в стороне, не вмешиваясь в распоряжение помощника. Тот себя не жалел — шумел на весь лес, метался вдоль цепи, дознаваясь, правильно ли мы отставили ногу, крепко ли вцепились в канат. Потом Владимиров налился темной кровью и натужно заревел: «Готовсь! Раз, два — взяли!» Мы изо всех сил потянули вперед, канат напрягся струной, затем, спружинив, рванулся назад — многие из нас, не устояв на ногах, полетели на землю. Глыба не шелохнулась.

Сконфуженный неудачей на глазах у начальника, Владимиров сызнова проделал операцию. Он повторял ее раз за разом, мы периодически бросали тела вперед, нас тут же, словно за шиворот, оттаскивало назад, а валун безмятежно стоял на том же месте, где покоился, вероятно, не одно тысячелетие.

И опять, как в первый день выхода на работу, ничего я так жарко не хотел, как выложить себя в мощном усилии. Соседи старались еще усердней моего, но всех наших соединенных сил было недостаточно для крепкого рывка. А вскоре, исчерпав свои скудные физические ресурсы, мы стали изнемогать. С каждым рывком канат напрягался слабее. Воодушевление дружного труда, охватившее было нас, превратилось в вялость. У Владимирова упорства было больше, чем соображения. Он мучил бы нас до утра, если бы не вмешался Скачков.

— Инженеры! — сказал Скачков с презрением. — Чему учились в институтах? С простым камешком не справляетесь!

Хандомиров негромко сказал, чтоб слышали одни соседи:

— Не очень-то он простой, этот камешек. Я подсчитал: объем около ста кубических метров, вес почти семьсот тонн. Полторы тонны на брата! Я и в лучшие времена не потащил бы полторы тонны, а сейчас к тому же не в форме.

По цепи пронесся смех. Я не вслушивался в расчеты Хандомирова. Я потерял интерес к камню! В мире совершалась удивительная ночь, я еще не видал таких ночей — не белых, а розовых, как заря. Солнце на часок опустилось в море, над головой стояли тучи, как пылающие снопы, плыли красные полосы — небо от горизонта до леса охватило пожаром. Отблеск этого горного пожара падал на море и лес, на землю и водоросли, прибившиеся к берегам, на наши унылые лица и невозмутимые бока валуна. Тонкий ветерок бежал над водой, и вслед ему вздымались синие волны с красными гребнями и с тихим грохотом разбивались на багровых скалах, с шипением терялись в розовом песке.

Владимиров, растеряв бравый вид, уговаривал нас:

— Надо что-нибудь придумать! Неужто же ничего не придумаем?

И тут мы услышали быстрый голос Журбенды:

— Разрешите, гражданин начальник, внести рационализаторское предложение?

Владимиров зашагал на голос.

— Мне кажется, у нас маловато техники, — продолжал Журбенда.

— На Хеопсстрое, например, применялись тали, полиспасты и рычаги. Почему бы не воспользоваться опытом этого передового строительства?

Обрадованный Владимиров направился к Скачкову. На полянке стало вдруг так тихо, что мы слышали от слова до слова разговор помощника с начальником.

— Разрешите доложить, товарищ капитан госбезопасности, — молодцевато отрапортовал Владимиров. — Тут один инженер из Хеопслага. Так он говорит, что у них почище насчет техники...

— Дурак! — гневно сказал Скачков и, уходя, бросил, как выстрелил:

— Уводить!

Владимиров не стал допытываться, кто дурак, он или подведший его «инженер», но тут же отдал конвоирам команду строить нас. Минут через десять мы уже двигались в крепость. Кто-то заикнулся о чечевице, но в ответ услышал брань. По дороге я спросил довольного Журбенду:

— Что вам за наслаждение дразнить надзирателей?

Он злорадно ухмыльнулся:

— Ну, в двух словах этого не расскажешь.

— Расскажите в трех. Не хватит трех, добавьте еще сотню. Я не ограничиваю вас.

Он стал очень серьезным. Его пивные глаза потемнели. Он поглядел на меня испытующе и отвернулся. После этого он помолчал еще с минуту.

— Ладно, как-нибудь поговорим. У волн, на бережку, за скалами — подальше от глаз и ушей...

На другой день после неудачной борьбы с валуном стояла теплая и ясная погода. В северном лете, когда оно не дождливо, всегда есть что-то ласковое, как в южной ранней осени. Оно нежно, а не жестоко, усыпляет, а не иссушает, как на юге. Я сидел у воды, в каждой клетке моего тела таилась истома. Я с удовольствием бы заплатил тремя сутками карцера за три часа сна на песке под солнцем. Сон на глазах бдительных конвоиров с лужеными глотками был неосуществим.

Деревья на участке к этому времени были вырублены и выкорчеваны, оставалось засыпать ямы и подровнять поверхность. Мы перетаскивали с места на место носилки с песком, после каждой носки отдыхая по получасу. Чтоб приободрить нас, Владимиров бросил боевой клич: «Носилки не столб, стоять не должны!» Он, впрочем, выразился немного иначе, но самая снисходительная цензура не пропустит точного текста его остроты. Наслаждаясь своим остроумием, он всюду оглашал придуманную хлесткую формулу. Мы заверяли, что сделаем все возможное, суетились, покрикивали друг на друга, с рвением перебрасывали лопатами песок. Когда Владимиров удалялся, мы в изнеможении валились на землю, сраженные бессилием, как обухом.

Журбенда, лежавший рядом со мной, сказал: Так поговорим, что ли?

— Поговорим, — согласился я, не пошевелившись.

— Надо отойти куда-нибудь.

Я осмотрелся. Море было гладко и пустынно. Чайки надрывно кричали над головой. Пологий берег открыто спускался к воде. Не то что скалы, за которой можно было укрыться, даже камешка нигде не было видно. Я снова опустился на песок и закрыл глаза.

— Некуда идти.

— Поднимемся в лес, вроде для оправки.

Я подосадовал, что вызвал Журбенду на разговор. Временами он бывал утомительно настойчив. Я поплелся наверх, спотыкаясь от безразличия ко всему. Меня не интересовало уже, почему Журбенда разговаривает с начальством так, словно сам нарывается на карцер. Журбенда уселся на чуть прикрытом мхом «бараньем лбу», окруженном высокими молодыми березами Нам отсюда был виден и берег с работающими и конвоирами на концах площадки, и море, набегавшее на песок, и похожее на грязноватую парусину небо. Мы же никому не были заметны, кроме чаек, все так же монотонно вопивших в вышине. Журбенда выглядел подавленным, ничего в нем не оставалось от обычного лукавого выражения, только ему свойственной «ехидинки» как называл ее Анучин. Даже золотые его веснушки посерели, округлое лицо осунулось. Он был словно после долгой болезни.

— Все дело в том, — сумрачно сказал он, отвечая на мои удивленный взгляд, — что наша великая революция величайшая из революций в истории, погибает если уже не погибла!

Я, разумеется, с возмущением потребовал объяснений. Меня ошарашило его неожиданное заявление. В первую секунду я даже хотел сбежать от дальнейшего разговора, все это смахивало на провокацию. Но, еще раз всмотревшись в Журбенду, я понял, что он не собирается подводить меня. Если я хоть немного разбирался в лицах, то этот странный человек глубоко страдал. Он заговорил со мной не для того, чтобы выпытать что-то у меня, а чтобы выговориться самому. Его душило горе, он надумал ослабить его отчаянным признанием, чтоб не задохнуться в своем одиноком самоисступлении. Мне не надо спорить, только слушать, ему станет легче — так я решил, ожидая разъяснений.

Он не спешил с разъяснениями. Он молчал, уставя побелевшие глаза на синее море. Он покачивал головой в ритм шумевшим над нами березкам. Потом он заговорил — сперва тихо и сбивчиво, с каждой новой фразой — все страстней и громче. Под конец захлебывался словами, не успевал выбрасывать наружу, как их уже теснили новые — он не держал речи, его захлестывало речью, как прибоем. Если бы я даже захотел, я не сумел бы вставить словечка в этот неистово ринувшийся словесный поток. Я, как и задумал, только слушал, с напряжением, с гневом, с глухим протестом слушал.

Я уже не помню, с чего он начал. Кажется, с того, какие ожидания связывал с революцией. Она представлялась ему половодьем, сметающим зимние снега, радостной весной, распутывающей путы, расковывающей узы. Он описывал свои недоумения, свои колебания. — наконец, свое негодование, когда революция пошла не по его пути. Нэп он еще принял, это было, конечно, поражение, ничего не поделаешь, в борьбе бывают не одни победы. Но все остальное он отвергал. Его ужасали трудности коллективизации, он не хотел оправдать жертвы, на которые шли ради индустриализации, он возмущался международной политикой — его все возмущало в нашей жизни, он не видел в ней ничего хорошего! Гитлер, несомненно, сговорился с французами и англичанами, японцами и итальянцами, турками и поляками — не дальше как следующей весной на нас со всех сторон обрушатся. А в партии происходит бонапартистский переворот, реставрация разновидности царизма — вот как он расценивает наше время. О, эти хитро прикрытые революционными фразами обманутые массы и не подозревают, куда их поворачивают, но его, Журбенду, не провести! Когда война разразится, сбросят маски и скажут: сила ломит и соломинку, надо уступать. И все раскрутится назад: заводы — капиталистам, земля — помещикам, а императорские регалии — владыке. И будем, будем называть «ваше величество» того, кто сегодня объявляется товарищем, совершится это, ибо непрерывно подготавливается, все катится в эту сторону!..

Он замолчал, устрашенный нарисованной им жуткой картиной.

— Чепуха! — сказал я, воспользовавшись передышкой. — Не верю ни единому вашему слову. Вы клевещете на наше время!

— Вы считаете, что все нормально в стране? — спросил он со злой иронией. — По-вашему, в датском королевстве нет ничего подгнившего?

Нет, я не считал, что все нормально. Если я, воспитанник советской власти, даже не представлявший, что можно существовать вне ее, сидел в советской тюрьме и вместе со мной сидели десятки тысяч таких, как я, значит, не все было нормально в стране. И я отлично видел, что диктатура рабочего класса, созданная революцией, понемногу превращается в личную диктатуру. Но для меня это было болезненным извращением исторического процесса, зловредной хворью развития, не поворотом вспять, как померещилось Журбенде. Земля оставалась в руках народа, созданную промышленность просто технически невозможно было уже передать в частные руки, классовые различия стирались с каждым годом, дорога к образованию была равно открыта всем, стремящимся к нему, страна богатела, наливалась производительными силами, совершенствовала культуру. Нет, завоевания революции не пропали, они поднимались ввысь, развивались, уходили в глубину. Да, конечно, в организм нашей страны-подростка проникла какая-то зараза, скоро с ней справятся, не может быть, чтобы не справились. Но подросток, и болея, продолжает расти, он постепенно превращается в могучего мужчину, он осуществляет то, что изначально заложила породившая его революция, — нет, она не погибла, она продолжается!

Журбенда, похоже, и не слушал моих возражений. Для него они означали не больше чем сотрясение воздуха.

— Гибнет революция, — повторил он с отчаянием. — И есть лишь один способ ее спасти — ужасный способ... У меня леденеет сердце, когда я думаю о нем, но другого не дано...

— Не понимаю вас, — сказал я.

— Знаете, почему революция погибает? — спросил он, обращая ко мне горячечно побагровевшее лицо. Нет, вы не можете знать, вы не задумывались так долго и так мучительно, как я. Откуда вам знать? Я сейчас потрясу вас до глубины души. Ужасная диалектика играет нашим существованием, немыслимая диалектика — революция должна погибнуть оттого, что мы слишком уверовали в нее! О, если бы мы меньше отдавали ей сил, как бы она развивалась!

— Это не диалектика, а софистика! Вы играете неумными парадоксами.

Он нетерпеливо махнул рукой. Он по-прежнему не хотел слушать моих возражений. Он следил лишь за бешено несущейся своей мыслью. Слепая вера, ничего серьезного, кроме веры. Так некогда царизм тупо верил, что шапками закидает японцев, и ведь мог закидать, надо было лишь как следует подготовиться, реальных силенок хватало — нет, ограничился одной верой, ему и всыпали по шее!

— К чему вы клоните? — сказал я, теряя терпение. — Нельзя ли покороче.

Он схватил меня за руку, снова умолял не перебивать. Он будет короток, он будет предельно короток. Итак, вера! Вера в мощь революции порождает ужаснейшее бездействие, непростительное легкомыслие. Вера в то, что нынешний НКВД ни в чем не отличается от старой ВЧК, превращает злодеяния в достойные поступки. Вот корень зла — вера, фанатическая вера! Этот корень надо выдрать из недр души, иначе гибель! Пусть лучше кровь сомнения, боль прозрения, чем сломанные кости при падении в пропасть! Страна неотвратимо катится под уклон, но никто не верит, что под уклон. Все так постепенно, к тому же — пышные фразы о полете вверх! Выход один — наддать скольжению вниз такого толчка, чтоб люди в страхе схватились за тормоза! НКВД истребляет революционеров, а страна верит, что идет выкорчевывание гнилья. Так помочь, помочь НКВД, заставить его совершить такие деяния, чтоб усомнились дураки, в ужасе отпрянули умные! Тебя арестовали но подозрению? Немедленно признавайся во всем, в чем заподозрили, навали на себя еще, обвини своих знакомых в чудовищных преступлениях, клевещи направо и налево, пусть разят направо и налево! А если следователи усомнятся, обвини и их в пособничестве врагам, истошно ори, что они в душе предатели. Внеси ужас безысходности и в сердце судей, чтоб они не смели не поверить тебе, не смели тебя оправдать. И пусть этот ужасный процесс как пожар охватит всю страну, тогда кинутся его тушить. На снедающий туберкулезный жар обычно не обращают внимания, пока не становится слишком поздно, но на открытый огонь несутся отовсюду. Ни перед чем не останавливаться, меньше всего заботиться об логике, любой абсурд годится, чем абсурднее, тем сильнее! Обвини в агитации немого, безрукого в диверсии, безногого в терроре, слепого в писании листовок, мать десятерых детей в шпионаже. Героя Социалистического Труда в саботаже, Героя Советского Союза в измене — это да! Говорю вам: чем нелепее, тем сильней! Чем хуже, тем лучше! Иного пути спасения нет!

Он уже не говорил, а кричал, закатывая глаза. Когда он на несколько секунд замолк, измученный собственным криком, я отстранился от всего, что он сказал, первым попавшимся возражением:

— Безумец! Да понимаете ли вы, чем это лично вам грозит? Вас расстреляют после первого же подобного донесения!

— Да! — снова закричал он. Лицо его озарилось дикой восторженностью, он поднял вверх глаза, словно молясь:— Да! Меня расстреляют первого, я это знаю. А я потяну с собой в могилу еще сотню невинных, чтоб тысяча оставшихся живых взялась за ум! Теперь вы понимаете, почему я стараюсь раздражать тюремное начальство? Пусть оно присматривается ко мне, пусть записывает, что я не разоружился, что враждебность моя выпирает наружу — все это пригодится! Все это пригодится, говорю вам! Когда простачок, свой человек заговорит о страшных свершенных им делах, ему могут и не поверить, с этим приходится считаться. Но человеку, о котором точно знают, что он непримиримый враг, такому человеку верят во всем плохом, такому верят!

Я поднялся. Он тоже встал. Минуту мы всматривались друг в друга с ненавистью.

— Вы самый опасный преступник из всех, каких я знаю, — сказал я. — Вы концентрированный сгусток того зла, от которого будто бы хотите нас избавить. Я не желаю вас больше знать. Не смейте подходить ко мне, разговаривать со мною!

— Уж не собираетесь ли выдать меня энкаведистскому правосудию? — спросил он, зловеще посмеиваясь, — Валяйте! Надо же когда-нибудь начать, вот и начнем с наших с вами очных ставок распутывать сеть, в которой, надеюсь, откроется богатейший улов...

— Я выдал бы вас только психиатру! — сказал я. — Но психиатры пока, к сожалению, не интересуются такими, как вы!

Я побежал вниз. У меня дрожали руки, тряслись ноги. На краю полузасыпанной ямки, сидя, дремали Анучин и Витос. Я схватил лопату и с ожесточением набрасывал песок на носилки. Вдали показался Владимиров. Анучин тоже взялся за лопату. Витос, зевая, подошел ко мне.

— Что с вами? На вас лица нет.

— Нет, ничего! — сказал я. — Поспорил с Журбендой. Он объяснял, почему острит при разговоре с начальством.

У Витоса засверкали глаза.

— С Журбендой спорить бесполезно. Таких надо бить палкой по голове. Говорю вам, он — гад!

Нас уводили в крепость, когда солнце, покружившись над лесом, повисло над морем. Вечер весь был напоен глубоким, радостным сверканием синей воды. Мы вышли на лесную дорожку, разморенные от теплоты и свежего воздуха, сонные, как удавы. С краю в нашем ряду шагал Журбенда, я иногда взглядывал на него. Он двигался спотыкаясь, жалко улыбался, что-то шептал себе под нос. Я знал, что он шепчет то самое, о чем недавно кричал: «Революция погибает! Революция погибает!»

В 1941 году, вскоре после начала войны, уже в Норильске, Журбенду перевели из лагеря в тюрьму. Провокатор Кордубайло, о котором я еще поговорю в другом рассказе, только что окончил свою доносительскую деятельность. Журбенда подхватил его страшную эстафету. По оговорам Журбенды осудили человек двадцать. До сих пор не могу понять, почему он пощадил меня.